

Бор – дремучий, кондовый, с берлогами медвежьими, крепким грибным и смоляным духом, с седыми лохматыми мхами. Видал и железные шелома княжьих дружин, и куколки скитников старой, настоящей веры, и рваные шапки Степановой вольницы, и озябшие султаны Наполеоновых фран-цузишек. И – мимо, как будто и не было; и снова – синие зимние дни, шорох снеговых ломтей – сверху по сучьям вниз, ядреный морозный треск, дятел долбит; желтые летние дни, восковые свечки в корявых зеленых руках, прозрачные медовые слезы по заскорузлым крепким стволам, кукушки считают годы.

Но вот в духоте вздулись тучи, багровой трещиной расселось небо, капнуло огнем – и закурился вековой бор, а к утру уж кругом гудят красные языки, шип, свист, треск, вой, полнеба в дыму, солнце в крови еле видно. И что человечки с лопатами, канавками, ведрами? Нету бора, съело огнем: пни, пепел, зола. Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница, и бритые арканзасцы будут прикидывать на ладони тяжелые, как золото, зерна; может, вырастет город – звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный – и со всего света, через горы и моря будут жужжа, слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники, с пестрым узором присловий, расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых столетних дедах, о Руси, расскажут для нас, кто десять лет – сто лет – назад еще видел все это своими глазами, и для тех, крылатых, что через сто лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказке.

Не петровским аршином отмеренные проспекты – нет: то Петербург, Россия. А тут – Русь, узкие улочки – вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках, – переулки, тупики, палисадники, заборы, заборы. Замоскворечье со старинными, из дуба резными названиями: с Зацепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой, Бабьегородом; подмосковная Коломна с кремлевскими железными воротами, через какие князь Дмитрий, благословясь, вышел на Куликово поле; «Владимиров» Ржев с князь Дмитриевской и князь Федоровской стороны, может, и по сей день еще расшибающими друг дружке носы в знаменитых кулачных боях; над зеркальной Волгой – Нижний с разливной Макарьевской, с парходными гонками, с стерлядями, с трактирами; и все поволжские Ярославли, Романовы, Кинешмы, Пучежи – с городским садом, дощатыми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, вкусными как просфоры, пятиглавыми церквями; и все черноземные Ельцы, Лебедяни – с конскими ярмарками, цыганами, лошадьми, маклаками, номерами для приезжающих, странниками, прозорливцами.

Это – Русь, и тут они водились недавно – тут, как в огороженной Беловежской пуще, они еще водятся: «всех-давишь» – медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, продувные ярославские офени, хитроглазые казанские «князья». И надо всеми – красавица, настоящая красавица русская, не какая-нибудь питерская вертунья-оса, а как Волга: вальяжная, медленная, широкая, полногрудая, и как на Волге: свернешь от стрежня к берегу, в тень – и, глядь, омут...

В городе Кустодиеве (есть даже Каинск – неужто Кустодиева нету?) прогуляйтесь – и увидите такую красавицу, Дарью – Дарью Ивановну. Кто ж родителей ее не знал: старого мучного рода, кержацких кровей, – жить бы им да жить и по сей день, если бы не поехали масленицей однажды кататься. Лошади были – не лошади, тигры, да и что греха

таить – шампанского лошадам для лихости по бутылке подлили в пойло. И угодили сани с седоками и кучером – прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец!

С той поры жила Дарья у тетки Фелицаты, игуменьи – и спела, наливалась, как на ветке пунцовый анис.

Рядом по монастырскому саду идут из церкви: Фелицата – с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Дарья – круглая, крупитчатая, белая. На солнце пчелы гудят, и пахнет – не то медом, не то яблоком, не то Дарьей.

– Ну, что ж, Дарья: замуж-то не откладывай. Яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит – расклюет, долго ли до греха!

Была когда-то в миру Фелицата, кликали ее Катей, Катюшенькой – и знает она, и помнит.

Ездят женихи к Дарье – да какие: тузы! Сазыкина взять – богатей первейший, из кустодиевских – Вахрамееву одному уступит. Отец его из Сибири, говорят, во время оно в мороженных осетрах два пуда ассигнаций вывез, и не совсем будто тут ладно было, – ну, да ведь деньги – не меченые. Не речист, правда, Сазыкин и не первой уж молодости и чем-то на Емельяна Пугачева сдает – да зато делец, каких поискать.

Ездит и сам Вахрамеев, градской голова – по другой жене вдовец: будто к Фелицате ездит (еще Катей ее знал), да все больше с Дарьюшкой шутит. Как расправит свою – уже сивую – бороду да сядет вот так, ноги расставив, руками в колени упершись, перстнем поблескивая, да пойдет рассказывать – краснобаек у него всегда карманы полны – ну, тут только за бока держись...

А тетка торопит Дарью – чуе, недолго уж жить самой:

– Ты, Дарья, – чего тут думать: к такому делу ум – как к балыку сахар. Ты билетики с именами сделай – да вот сюда, под иконы, к заступнице на полочку. Что вынется – тому и быть.

Вынула Дарья билетик с Вахрамеевым – и камень с сердца: тот-то, Сазыкин, темный человек, бог с ним. А Вахрамеев – веселый и отца ее знал – будет теперь ей вместо отца.

Как сказала Фелицата Сазыкину, какое от заступницы вышло решение – ничего, промолчал Сазыкин, в блюде с вареньем глядя. Только вытащил из варенья муху – поползла, повизгивая, муха – долго глядел, как ползла.

А наутро узнали: тысячного своего рысака – запалил в ту ночь Сазыкин.

И зажила Дарья в вахрамеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской каланчой. Как пересаженная яблоня: привезут яблоню из Липецка – из кожинских знаменитых питомников – погрузит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает, – и, глядишь, привыкла, налилась, – и уж снова цветет, пахнет.

Как за особенной какой-нибудь яблоней – Золотым Наливом – ходит Вахрамеев за Дарьей. Заложит пару в ковровые сани – из-под копыт метель, ветер, – и в лавку: показать «молодцам» молодую жену. Молодцы ковром стелются – ходи по ним, Дарьюшка! А покажется Вахрамееву, чей-нибудь цыганский уголь-глаз искрой бросит в нее – только поднимет Вахрамеев плеткой правую бровь – и поникнет цыганский глаз.

Ярмарка: на ярмарку с Дарьей. Крещенский мороз, в шубах – голубого снегового меху – деревья, на шестах полощутся флаги: балаганы, лотки, ржаные расписные архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на сниске, с музыкой крутится карусель. И может, Дарье не надо фыркающих белым паром вахрамеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихо загнувшую голову деревянную лошадь – и за кого-то держаться – и чтоб ветром раздувало платье, ледком обжигало колени, а из плеча в плечо – как искра...

По субботам – в баню, как ходили родители, деды. Выйдут пешком, такой был у Вахрамеева обычай, а наискосок, из своего дому, Сазыкин – тоже в баню. Вахрамеев ему через улицу – какие-нибудь свои прибаутки:

– Каково тебя бог перевертывает? В баню? Ну – смыть с себя художества, намыть хорошества!

Сазыкин молчит, а глаза, как у Пугачева, и борода смоляная – пугачевская.

А в бане уж готов, с сухим паром – свой, «вахрамеевский», номер, и к нему особенный – «вахрамеевский», подъезд, и особенное казанское мыло, и особенные – майской березы – шелковые веники. И там, сбросив с себя шубу и шали и платья, там Дарья – атласная, пышная, розовая, белая, круглая – не из морской пены, из жарких банных облаков – с веником банным выйдет русская Венера, там – крикнет Вахрамеев, мотнет головой, зажмурит глаза...

И уж ждет, как всегда, у подъезда лихач Пантелей – сизый от мороза курнофеечка-нос, зубы, как кипень, веселый разбойничий глаз, – наотлет шапку:

– С малиновым вас паром! Пожалте!

Дома – с картинами, серебряными ендовами, часами, со всякой редкостью под стеклянным колпаком – парадные покои, пристальные синие окна с морозной расцветкой, ступеньки – и приземистая спальня, поблескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то темные, с небывалой тоской на дне, глаза, двухспальный пуховый ковчег...

Так неспешно идет жизнь – и всю жизнь, как крепкий строевой лес, сидят на одном месте, корневищами ушедши глубоко в землю. Дни, вечера, ночи, праздники, будни.

В будни с утра – Вахрамеев у себя в лавке, в рядах. Чайники из трактира и румяные калачи, и от Сазыкина – пятифунтовая банка с икрой. В длиннополых сюртуках, в шубах, бутылками сапоги, волосы по-родительски стрижены «в скобку» или «под дубинку» – за чаем поигрывают миллионами, перекидывают пшеницу из Саратова в Питер, из Ростова в Нью-Йорк и хитро, издаля, лисьими кругами – норовят на копейку объехать приятеля, клетчатými платками вытирают лоб, божатся и клянутся.

– Да он, не побожившись, и сам-то себе не верит! – про этакого божеряку ввернет Вахрамеев – и тот сдался, замолк. Краснословье в городе – не последнее дело.

Но и за делом Вахрамеев не забудет о Дарье. Глядь – у притолки стоит перед ней из вахрамеевской лавки молодец – с кульком яблоков-крымок, орехов – грецких, американских, кедровых, волошинских, фундуков:

– Хозяин вам велел передать.

И мелькает Дашеньке искрой цыганский угольный глаз – и, не подымая ресниц, скажет: спасибо. А потом, забывши про закушенное яблоко, долго глядит в окно на синие тени от дерева – и вот на тугой груди прошуршал тугой в клеточку шелк – вздохнула.

И зима, зима. От снега – все мягкое: дома – с белыми седыми бровями под окнами; круглый собачий лай; на солнце – розовый дым из труб; где-то вдали – крик мальчишек с салазками. А в праздник, когда загудят колокола во всех сорока церквах – от колокольного гуда как бархатом выстланы все небо и земля. И тут в шубке с соболями, в пестрых нерехтских рукавичках выйти по синей снеговой целине – так, чтобы от каждого шага остались следы на всю жизнь, – выйти, стать под косматой от снега колдуньей-березой, глотнуть крепкого воздуха, и зарумянятся от мороза – а может, и еще от чего – щеки, и еще молодо на душе, и есть, есть что-то такое впереди – ждет, скоро...

Пост. Желтым маслом политые колеи. Не по-зимнему крикучие стаи галок в небе. В один жалобный колокол медленно поют пятиглавые Николы, Введенья и Спасы. Старинные, дедовские кушанья: щи со сметками, кисель овсяный – с суслом, с сытой, пироги косые со щучьими телесы, присол из живых щук, огнива белужья в ухе, жаворонки из булочной на горчичном масле. И Пасха, солнце, звон – будто самая кровь звенит весь день.

На Пасху, по обычаю, все вахрамеевские «молодцы» – к хозяину с поздравлением, христосоваться с хозяином и хозяйкой. На цыпочках, поскрипывая новыми сапогами, по одному – вытянув трубочкой губы – прикладываются к Дарье, как к двенадцатой иконе, получают из ее рук пунцовое с золотым Х. В. яйцо.

И вдруг один – а может быть, только показалось? – один, безбородый, и глаза цыганские – уголья, губы сухие – дрожат, губами приложился на одну самую песчиную секундочку дольше, чем все, и будто не икона ему Дашенька, не икона, а...

Сердце... нет, нет, не сердце выскочило из рук: алое, как сердце, пасхальное яйцо – и покатило к чьим-то ногам.

У Вахрамеева – правая бровь плеткой – молодцу:

– Эка, брат, руки-то у тебя – грабли! Чем голову набил?

Одна какая-то ночь – и из скорлупы вышел апрель, первая пыль, тепло. И как зимой ученики по красному флагу на каланче знают, что мороз – двадцать градусов и нету ученья – так тут знают все, что тепло: сундучник Петров, вместе с товаром, вылез из своей лавки на улицу. Расставлены перед дверями узорчато-кованые, писанные розами сундуки, и на табурете, подставив лысую голову солнцу – как подставляют ведро под дождевой желоб, – сам И. С. Петров с газетой.

– Ну, что новенького? Что там из города-столицы пишут? И сундучник – на нос очки и, глядя поверх очков, – внушительно:

– Да вот в Москве на Трубе кожаного болвана поставили.

– Какого такого болвана?

– А такого: его, значит, по морде бьют – а он воет, чем ни сильнее бьют – он громче. Для поощрения, значит, атлетической силы и испытания, да.

И так от него двадцать лет все торговые ряды узнают о московских болванах, о кометах

и войнах – обо всем, что творится там, далеко, куда бегут, жужжа на ветру, телеграфные провода, куда торопятся, хлопая плицами по воде, пароходы...

Пароходы, облака, месяцы, дни, птицы – мимо. А тут жизнь – как на якоре – качается пристанью, и люди – как крепкий строевой лес, глубоко корневищами ушедший в землю.

Но ведь говорят старые люди, будто раз в году, когда в мае новый месяц уродится и ночь темна, – раз в году даже всем деревьям, цветам и травам, всем зеленым душам – дозволено ходить, чтобы к утру опять вернуться на свое место. И на белых, нагих, налитых весенним соком ногах, еще со следами пахучей, сдобной земли – все толпой бредут они в темную ночь – и такое начинается, что...

Жара. Дни желтые – тяжелой той желтью, что бывает у яблок, уже спелых и готовых упасть – чуть только качни, погляди, дунь. Из старого вахрамеевского сада липы и сирень перевесились через забор всей грудью – так в душные вечера, смяв о подоконник пышное тело, выглядывают из окон ярославские, рязанские, замоскворецкие красавицы.

Уже неделя, как все тузы из города укатили на ярмарку. В просторных покоях – Дарья одна. Солнечный квадрат неслышно скользит по кафельной печке – сломался на плитусе – ползет по воценому полу. За обоями в деревянной стене вдруг тихонько затикает что-то – медленней, медленней – и замрет: будто завелось в дереве какое-то сердце. И все хочется пить квас со льдом – сохнут губы, – или неможется? – или не то: теснит в груди платье. А вечером в спальне скинет платье, задумается, поплывет в зеркале – и скорее: потушить свечу – потушить запылавшие щеки.

Наутро – под окном казанский «князь», в ватной шапке горшком, лопухий, глаза острые – как сквозь замочную скважину.

– Купи, барина, шали шелковые хороши – купи, кавалер любить будет. Ай, хороши! – причмокнет, подкинет шаль на руке. И ухмыляется, будто сквозь замочную скважину все подглядел, все знает.

Опустила Дарья глаза – рассердилась на себя, что опустила. Вышла на крылечко и сердито купила, что попало – кружевной носовой платочек. Постояла, поглядела вслед «князю», поглядела на отбившееся от стада облако – вот такие же у ней были когда-то легкие и пухлые девичьи мысли. И уже повернулась домой – вдруг сзади у садового забора шорох, скрип по дощатому тротуару, и из-за угла цыганский угольный глаз:

– Дарья Ивановна...

Остановилась.

– Даша (тихо)... Дашенька (сухим, как песок, шепотом)... Ночью – в сад... придешь?

...Остановилась, чтобы оборвать дерзеца, чтобы сразу охоту отбить. И бог весть почему – не выговорилось, пересмягли губы. Так молча, спиной к нему повернувшись, дослушала все до конца – только шелк шуршал на тугой груди.

А ночью вышла в сад – темною майской ночью, когда уродился новый месяц, и все деревья, травы, цветы – с нагими, белеющими в темноте ногами, налитыми весенним соком – шуршали, шептали, шелестели...

Утро. Из розового золота кресты над синими куполами, розовые камни, оконные стекла, заборы, вода. И все – как вчера. Не было ничего.

И, как всегда – веселый, шутейный, с краснобайками со своими, с сундуком, полным гостинцев, приехал Вахрамеев. Раскрыл Дарье сундук, вынула она гостинцы, поглядела, положила назад, сидит не улыбой.

– Ты что, Дарья? Или муху с квасом невзначай проглотила?

– Так. Сон нынче ночью привиделся.

А был сон в руку. День ли, два ли прошли, а только пообедал Вахрамеев, после обеда лег почивать – да так и не встал. Будто стряпуха за обедом накормила его вместе с сморчками грибом-самоплясом, оттого-де и кончился. Говорили и другое – ну, да мало ли кто что скажет. Одно известно: отошел по-христиански, и последнее, что Дарье сказал: «Не выходи, – говорит, – за Сазыкина. Он мне в Макарьеве муку подмоченную всучил».

Погубила Сазыкина мука: не за Сазыкина вышла молодая вахрамеевская вдова, а за другого – с угольным цыганским глазом. Был слух: загулял Сазыкин с тоски. Был слух: велел зашить себя, пьяный, в медвежью шкуру и вышел во двор – во дворе псы цепные спущены – чтобы рвали его псы, чтобы не слышно, как тоска рвет сердце. А потом канул в Сибирь.

Так камень бултыхнет в водяную дремь, все взбаламутит, круги; вот разбежались – только легкие морщины, как по углам глаз от улыбки, – и снова гладь.

Разбежались круги – и опять жизнь мирная, тихая, как бормотание бьющих о берег струй. За прилавком щелкают счеты, и ловкие руки, мелькая шпулькой, отмеривают аршин за аршином. Опершись о расписной сундук, с газетой, на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник И. С. Петров. Все в белом, мечутся половые в трактирах – только, как дым за паровозом, вьются следом за ними концы вышитого ручника да кисти от пояса. В конуре своей изограф Акима – трактирный завсегдаятай – торопливо малюет на вывеске окорока и колбасы, чтобы в положенный час сесть с графинчиком в положенном уголке – и лить слезы о пропитой жизни.

А вечером – в синих прорезах сорока колоколен качнутся разом все колокола, и над городом, над рощами, над водой, над полями, над странниками на дорогах, над богачами и пропойцами, над грешными по-человечьи и по-травяному безгрешными – над всеми расстелется колокольный медный бархат, и все умягчится, затихнет, осядет – как в летний вечер пыль от теплой росы.

1923 год